



НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

ДУРОВА



НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

ДУРОВА



Записки кавалерист-девицы



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Д84

Серия «Русская классика»

Серийное оформление *А. Кудрявцева*

Дурова, Надежда Андреевна.

Д84 Записки кавалерист-девицы / Надежда Андреевна Дурова. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 352 с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-161350-1

Надежда Дурова прошла путь от рядового солдата до штабс-ротмистра и за совершенные подвиги и отвагу была награждена солдатским Георгиевским крестом. Десять лет она провела на полях сражений, была участницей двух заграничных походов и Отечественной войны 1812 года. Служила ординарцем у Михаила Кутузова, а император Александр I восхищался храбростью женщины и ее желанием служить Родине.

Биография Дуровой удивительна и драматична, свою уникальную историю она описала в мемуарах «Записки кавалерист-девицы». Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин был в восторге от удивительной жизни и литературного таланта этой незаурядной женщины и издал историю «кавалерист-девицы» в своем журнале «Современник».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-161350-1

© ООО «Издательство АСТ», 2024



Часть первая



ДЕТСКИЕ ЛЕТА МОИ

Мать моя, урожденная Александровичева, была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце пятнадцатого года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру Дурову; но, к несчастью, выбор этот не был выбором отца ее, гордого, властолюбивого пана малороссийского. Он сказал матери моей, чтоб она выбросила из головы химерическую мысль выйти замуж за москаля, а особливо военного.

Дед мой был величайший деспот в своем семействе; если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться, и не было никакой возможности ни умиловить его, ни переменить однажды принятого им намерения.

Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя, спавшая в одной горнице с старшею сестрою своею, встала тихонько с постели, оделась и, взяв салоп и капор, в одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати, отворила тихо двери в залу, тихо затворила, проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженною четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по киевской дороге.

В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, где квартировал полк Дурова. Поступок матери моей хотя и мог быть извиняем молодостию, любовью и достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчиною, имевшего кроткий нрав и пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою.

В продолжение двух лет мать моя не переставала писать к отцу своему и умолять его о прощении; но тщетно: он ничего слышать не хотел, и гнев его возрастал по мере как старались смягчить его. Родители мои, потерявшие уже надежду умиловить человека, почитавшего упорство характерностью, покорились было своей участи, перестав писать к неумолимому отцу; но беременность матери моей оживила угасшее мужество ее; она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские.

Мать моя страстно желала иметь сына и во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами; она говорила: «У меня родится сын, прекрасный, как амур! Я дам ему имя Модест; сама буду кормить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой милый Модест будет утехой всей жизни моей...» Так мечтала мать моя; но приближалось время, и муки, предшествовавшие моему рождению, удивили матушку самым неприятным образом; они не имели места в мечтах ее и произвели на нее первое невыгодное для меня впечатление. Надобно было позвать акушера, который нашел нужным пустить кровь; мать моя чрезвычайно испугалась этого, но делать нечего, должно было покориться необходимости. Кровь пустили, и вскоре после этого явилась на свет я, бедное существо, появление которого разрушило все мечты и ниспровергнуло все надежды матери.

«Подайте мне дитя мое!» — сказала мать моя, как только оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли

и положили ей на колени. Но увы! Это не сын, прекрасный, как амур! Это дочь, и дочь богатыры! Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене.

Через несколько дней маменька выздоровела и, уступая советам полковых дам, своих приятельниц, решила сама кормить меня. Они говорили ей, что мать, которая кормит грудью свое дитя, через это самое начинает любить его. Меня принесли; мать взяла меня из рук женщины, положила к груди и давала мне сосать ее; но, видно, я чувствовала, что не любовь материнская дает мне пищу, и потому, несмотря на все усилия заставить меня взять грудь, не брала ее; маменька думала преодолеть мое упрямство терпением и продолжала держать меня у груди, но, наскуча, что я долго не беру, перестала смотреть на меня и начала говорить с бывшею у нее в гостях дамою. В это время я, как видно, управляемая судьбою, назначавшею мне солдатский мундир, схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами. Мать моя закричала пронзительно, отдернула меня от груди и, бросив в руки женщины, упала лицом в подушки.

«Отнесите, отнесите с глаз моих негодного ребенка и никогда не показывайте», — говорила матушка, махая рукою и закрывая себе голову подушкою.

Мне минуло четыре месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон; так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собою. Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Днем девка эта сидела с матушкою в карете, держа меня на коленях, кормила из рожка коровьим молоком и пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью; на ночлегах я отдыхала, потому что меня отдавали крестьянке, которую приводили из селения; она распеленывала меня, клала к груди и спала со мною всю ночь; таким образом, у меня на каждом переходе была новая кормилица.

Ни от переменных кормилиц, ни от мучительного пеленанья здоровье мое не расстраивалось. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива. В один день мать моя была весьма в дурном нраве; я не дала ей спать всю ночь; в поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать, и, несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала от часу громче: это переполнило меру досады матери моей; она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно! Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня, всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни; они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни и, сверх чаяния, не была изуродована; только от сильного удара шла у меня кровь из рта и носа; батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей: «Благодари Бога, что ты не убийца! Дочь наша жива; но я не отдам уже ее тебе во власть; я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою; не обращая ни взора, ни слов к матери моей.

С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу божию и смотрению флангового гусара Астахова, находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе. Я только ночью была в комнате матери моей; но как только батюшка вставал и уходил, тотчас уносили меня.

Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и бле-

стящей стали; вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарею разные штучки; я слушала и, наконец, засыпала. Только сонную и можно было отнести меня в горницу; но когда я не спала, то при одном виде материной комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова.

Матушка, со времени воздушного путешествия моего из окна кареты, не вступалась уже ни во что, до меня касающуюся, и имела для утешения своего другую дочь, точно уже прекрасную, как амур, в которой она, как говорится, души не слышала.

Дед мой, вскоре по рождении моем, простил мать мою и сделал это весьма торжественным образом: он поехал в Киев, просил архиерея разрешить его от необдуманной клятвы не прощать никогда дочь свою и, получив пастьерское разрешение, тогда уже написал к матери моей, что прощает ее, благословляет брак ее и рожденное от него дитя; что просит ее приехать к нему, как для того, чтобы лично принять благословение отца, так и для того, чтобы получить свою часть приданого.

Мать моя не имела возможности пользоваться этим приглашением до самого того времени, как батюшке надобно было выйти в отставку; мне было четыре года с половиною, когда отец мой увидел необходимость оставить службу. В квартире его, кроме моей кровати, были еще две колыбели; походная жизнь с таким семейством делалась невозможною; он поехал в Москву искать места по статской службе, а мать со мною и еще двумя детьми отправилась к своему отцу, где и должна была жить до возвращения мужа. Взяв меня из рук Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела; всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим; я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтоб она дала мне

пистолет, как я говорила, пощелкать; одним словом, я воспользовалась как нельзя лучше воспитанием, данным мне Астаховым!

С каждым днем воинственные наклонности мои усиливались, и с каждым днем более мать не любила меня. Я ничего не забывала из того, чему научилась, находясь беспрестанно с гусарами; бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кричала во весь голос: «Эскадрон! Направо заезжай! С места! Марш-марш!»

Тетки мои хохотали, а матушка, которую все это приводило в отчаяние, не знала границ своей досаде, брала меня в свою горницу, ставила в угол и бранью и угрозами заставляла горько плакать.

Отец мой получил место городничего в одном из уездных городов и отправился туда со всем своим семейством; мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить и без того неодолимую страсть мою к свободе и военной жизни: она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса; я должна была целый день сидеть в ее горнице и плести кружева; она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется, и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам.

Мне минуло десять лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницею Астахова, что это гусарское воспитание пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее и что она желала бы лучше видеть меня мертвою, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня и что с годами я получу другие наклонности, и все пройдет само собою. «Не приписывай этому ребячеству такой важности, друг мой!» — говорил батюшка. Судьбе угодно было, чтоб мать моя не поверила

и не последовала доброму совету мужа своего... Она продолжала держать меня взаперти и не позволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась; но угнетение дало зрелость уму моему.

Я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и, как взрослая, начала обдумывать план успеть в этом. Я решилась употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действие замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая укрыться от надзора матушки; эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье; я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда уже ожидало меня наказание.

Таким образом минуло два года, и мне было уже двенадцать лет; в это время батюшка купил для себя верховую лошадь — черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его Алкидом. Теперь все мои планы, намерения и желания сосредоточились на этом коне; я решилась употребить все, чтоб приучить его к себе, и успела; я давала ему хлеб, сахар, соль; брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли; гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня, и наконец достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка.

Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню; Алкид встречал меня ржанием, я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор; потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину; быстрые движения его, прыганье, храпе-

ные несколько не пугали меня: я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенною за ворота, потому что они были еще заперты.

Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною Алкида; но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами.

К счастью моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко усмирила Алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою; он пошел шагом, и когда я обняла шею его и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала, с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке; но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвести Алкида в конюшню; при этом обещании лицо Ефима *выяснилось*, он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня!»

Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смиренно и, сгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосы или за плечо.

С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте; я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье.

Одним словом, не было места, куда б я не пошла ночью так же смело, как и днем; хотя мне так же, как и другим де-

ням, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть; хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась; напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженною ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу; но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое.

В один день матушка поехала с дамами гулять в густой бор за Каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтоб я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый еще раз в жизни моей, что вывели меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку! Я едва не задохлась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала — и бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны; тогда-то радость моя была полная и совершенная: я бегала, прыгала, рвала цветы, взлезала на вершины высоких деревьев, чтоб далее видеть, взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз, и молодое деревце легонько ставило меня на землю!

Два часа пролетели как две минуты! Между тем меня искали, звали в несколько голосов; я, хотя и слышала их, но как расстаться с пленительною свободою!

Наконец, уставши чрезвычайно, я возвратилась к обществу; мне не трудно было найти их, потому что голоса, меня зовущие, не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве; они вскрикнули от радости, увидев меня; но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятою девчонкою, заклявшуюся сердить ее всегда и везде!

Мы приехали домой; матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо; приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не